

Bulletin Nr. 171

Dezember 2016

Бюллетень Nr. 171

Декабрь 2016

(B-ulletin)
Бюллетень

Д
О
С
Т
Е
Н
Ь
Б



125 лет со дня рождения Михаила Булгакова

TOLSTOI.DE

Bibliothek
Bildung
Beratung



Das Bulletin wird seit 1975 herausgegeben.

Es erscheint vierteljährlich.

Der Herausgeber ist:

Бюллетень выходит с 1975 г.

Его издает четыре раза в год:

Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk e. V.

Thierschstraße 11

80538 München

Telefon Bibliothek (089) 29 97 75

Telefon Beratungsstelle (089) 22 62 41

Telefax (089) 228 93 12

www.tolstoi.de

tolstoi@tolstoi.de

Redaktion und Verantwortung für den Inhalt:

Tatjana Erschow

Главный редактор:

Татьяна Ершова

ISSN 2197-6333

15 мая 2016 года исполняется 125 лет со дня рождения М.А. Булгакова. В этом году можно отметить и полвека со времени публикации романа «Мастер и Маргарита» (журнал «Москва», 1966, № 1; 1967, № 1).

ЛИДИЯ ЯНОВСКАЯ

«МОЯ ЗЕМЛЯ!»

Небольшая прогулка вместо предисловия

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891 —1940) родился в Киеве. Его родители, Афанасий Иванович и Варвара Михайловна Булгаковы, в тот год снимали свою первую квартиру на тихой Воздвиженской улице в доме Матвея Бутовского, священника Воздвиженской церкви. Выбор улицы, вероятно, определялся тем, что квартиры здесь были дешевле, и еще тем, что улица — у Подола и отсюда было близко к Братскому монастырю и духовной академии, где молодой доцент А. И. Булгаков преподавал историю западных вероисповеданий. В Воздвиженской церкви малыш и был крещен. Имя Михаил в святцах встречается не раз. Будущий писатель был наречен в честь архангела Михаила, покровителя Киева.

До сих пор неизвестно, в каком именно доме родился Булгаков: в усадьбе Бутовского два рядом стоящих каменных дома. Но в глубине двора-сада — дорожка прямо к воротам на Воздвиженскую — был флигель. Он очень давно снесен, еще в 20-е годы. Может быть, А. И. и В. М. Булгаковы со своим первенцем жили именно здесь, во флигеле: очень общительная Варвара Михайловна вместе с тем любила независимость.

Булгаковы съехали отсюда, когда будущему писателю был год, и прелестная Воздвиженская улица, полукругом огибавшая Фроловскую гору, в его произведениях не отразилась.

Одним своим концом Воздвиженская выходит на Андреевский спуск. Описанный Булгаковым, опоэтизированный Булгаковым Андреевский спуск, на котором навсегда поселились тени его героев...

В верхней части Андреевского спуска, на углу Владимирской, прямо против Андреевской церкви, двухэтажный дом. Он описан в повести «Тайному другу»:

«...Мороз утих, и снег шел крупный и мягкий. Все было бело. И я понял, что это рождество. Из-за угла выскочил гнедой рысак, крытый фиолетовой сеткой.

И— Гись!— крикнул во сне кучер, Я откинул полость, дал кучеру деньги, открыл тихую и важную дверь подъезда и стал подниматься по лестнице.

В громадной квартире было тепло. Боже мой, сколько комнат...»

С тех пор прошло много лет. Дом перестроен. Перестроен, впрочем, не так давно... Подъезд исчез, а на его месте окно первого этажа. Исчезла лестница - этажи разобзили. Но чисто протертые окна второго этажа выглядят по-прежнему. Три закругленные сверху окна (среднее шире) — гостиная, где было столько «важных, обольстительных» вещей. Хозяин квартиры, доктор Иван Павлович Воскресенский — один из тех русских врачей, которые, будучи вызваны в бедную семью не только за визит не брали, но еще оставляли деньги на лекарства, в прошлом служил в Маньчжурии как военный врач. Множество не то чтобы дорогих, но удивительных и загадочных предметов в его доме были (памятью о Востоке... Левее — тоже закругленное, сдвоенное окно поменьше. Это лестничная площадка. Еще левее, отделенные лестничной площадки остальной квартиры,— два окна угловой комнаты которую в 1913—1916 годах снимали студент-медик Михайл Булгаков и его юная жена Татьяна. Доктор Воскресенский был близкий, свой человек, и молодые Булгаковы в его квартире чувствовали себя дома.

Теперь квартиру можно узнать только снаружи: внутри все перепланировано, и ни гостиной доктора Воскресенского, ни лестничной площадки, ни комнаты молодых Булгаковых уже нет.

Я все-таки успела побывать в этом доме в конце 70-х годов. Жильцы съехали, дом был пуст, парадный подъезд заколочен, и лестница, обреченная на слом, разбита и засыпана мусором. Я вошла со двора — несколько ступенек вели прямо во второй этаж, который отсюда — как и в знаменитом «доме Турбиных», и во многих старых киевских домах — был первым. Прошла мимо кухни и угловой, булгаковской... «Громадная квартира» оказалась не так уж велика: комнаты, пожалуй, можно было бы и перечесать, и даже на пальцах одной руки. Двойное окно нарядно освещало лестничную площадку, и мне показалось даже, что под слоем щебня и битого стекла площадка мраморная или была мраморной и что в узком простенке двойного окна когда-то непременно стояла изящная скульптура или ваза.

Большая угловая комната, была просторна и пуста, как будто Булгаковы выехали совсем недавно. Несколько неправильной формы комната: стена фасада в этом месте изогнута. Поскрипывали, болтаясь, рамы. Из окна — чуть левее — можно было увидеть Андреевскую церковь. В начале века главки ее еще не были отягощены золотым декором и она казалась совсем невесомой, плыла в голубизне. Прямо против окон — на другой стороне улицы, рядом с

Андреевской церковью, правда, числясь уже не по Андреевскому спуску, а по Десятинной, — дом, связанный с именем Врубеля... И еще два окна в этой комнате, в стене под углом к фасаду, затененные холмом Десятинной церкви, давно уже не существующей...

На углу, в двух шагах от решетчатых ворот, афишная тумба (она запечатлена на некоторых старых фотографиях). И по утрам, вероятно, из окна виден расклейщик, быстрые движения его мокрой кисти и свежие, мгновенно просыхающие листы афиш. На булыжном пятачке у ступеней Андреевской церкви и дома Врубеля — стоянка извозчиков. «В оперный театр ходили пешком или брали извозчика?» — спросила я однажды у Татьяны Николаевны, некогда носившей фамилию Булгакова. «Извозчика? — раздумчиво переспросила она и вдруг вспыхнула: — Нет! Когда были деньги, брали лихача! Такой, знаете, на дутиках!» Деньги бывали — небольшие, правда, — когда присылал Татьянин отец или Михаил получал за уроки...

Из этой комнаты весной 1916 года молодой врач Михаил Булгаков уехал на фронт — добровольцем Красного Креста — и попал в самую гущу военных событий, в развернувшееся на Юго-Западном фронте одно из крупнейших сражений первой мировой войны — знаменитый «брусиловский прорыв»... Сюда вернулся на короткое время в сентябре 1916 года, когда, отозванный с фронта, получал назначение в глухое смоленское село — земским врачом. И еще раз появился здесь — в сентябре 1921-го.

На этот раз он был в гостях у матери. Давно овдовевшая Варвара Михайловна к этому времени вышла замуж за доктора Воскресенского, и в светлой угловой была ее столовая.

За плечами Булгакова, уже не врача — писателя Михаила Булгакова, теперь были годы гражданской войны, служба в белой армии и уход из белой армии, начало литературной деятельности на Северном Кавказе... Теперь он ехал в Москву — без денег и без вещей, но с твердой решимостью завоевать свое место в литературе.

Два месяца спустя из голодной и холодной Москвы, где работал неистово из-за куска хлеба, а по ночам сочинял — «Записки земского врача», «Недуг» и «грандиозную драму в пяти актах» о Николае и Распутине, — Булгаков писал матери: «Самым моим приятным воспоминанием за последнее время является — угадайте, что? Как я спал у Вас на диване и пил чай с французскими булками. Дорого бы дал, чтоб хоть на два дня опять так лечь, напившись чаю, и ни о чем не думать. Так сильно устал».

А еще два с половиной месяца спустя гроб с телом матери стоял в этой самой комнате на дубовом столе. Тиф... И сын не смог приехать проститься.

«Мама, светлая королева, где же ты?»

Эти слова возникнут в самом начале романа «Белая гвардия», написанного в 1923—1924 годах. В крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?»

Странно: город был южный, солнечный, теплый, а помнился лучше всего — снег.

Зимы в Киеве в начале века были снежные, может быть, потому, что гуще вокруг города стояли леса. «Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег» («Белая гвардия»).

Снег вывозили, и тогда по Андреевскому спуску, мимо Андреевской церкви, вниз, двигались легким караваном одноконные сани, груженные белыми конусами и кубами, рядом с обозом шагали веселые возницы- женщины, потому, должно быть, что не мужское это дело — сбивать и оглаживать ловкой лопатой снеговиков... Снег вывозили. А он шел, пушистый, плотный, превращая тихие улицы в санные горки. На Андреевском спуске, нелюбимом ломовиками за его крутизну и бесчисленные повороты, катались мальчики — от своего двора до ближайшего поворота или от ближайшего поворота до своего двора. А иногда, по праздникам, улица взрывалась радостными голосами: каталась взрослая молодежь. В длинные сани (они назывались «шведскими») набивалось человек по восемь, и задача была — пролететь весь Андреевский спуск, от самого верху до самого низу, не вывернувшись в сугроб на поворотах...

Михаил и Татьяна уходили в парки. («Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира».) Катались на американских горах. («Теперь это называется бобслей», — много лет спустя засмеется Татьяна Николаевна.) Впрочем, это, кажется, было немного раньше, в зиму, предшествовавшую их браку, когда она снимала комнату на Рейтарской, дом 25... Они приходили сюда уставшие, смеющиеся и насквозь мокрые и долго потом сушились у открытого огня печки, и пар валил от их мокрой одежды...

Образ киевских зим и снега («...а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег». — «Киев-город») надолго войдет в творчество Михаила Булгакова отсветом дома, покоя и тепла... пока с течением лет цвет снега . — белый цвет . не начнет становиться для него символом небытия. И тогда в последней редакции романа «Мастер и Маргарита» перед Маргаритой, которую на протяжении всего действия сопровождали розы, вдруг окажутся неизвестно кем поставленные ландыши, цветок весенний, цветок благоуханный, но предупреждающе *белый*...

Киев бурно строился на стыке двух веков. Прокладывались новые улицы, и по заранее вычерченной линии плотно один к другому (в центре земля дорогá!) вставляли огромные трех- и четырех- и даже шести- (с лифтами!), даже семиэтажные дома. Богатые заказчики соревновались между собой. Модерн, готика, классицизм, ренессанс — стили были разные и в самом неожиданном сочетании. Эркеры и балконы, колонны и пилястры, ниши, скульптура, башенки, шпили. Частые окна XIX века, большие стекла «под модерн», зеркальные стекла богатых подъездов, цветные витражи на лестничных площадках... Земля была дорога, и в тылу у роскошных громад, отделенные дворами-колодцами, вставляли другие громады, доходные дома с фасадами попроще, с квартирами подешевле...

Город строился. В 1898 году въехал в свое специально построенное здание драматический театр «Соловцов». В 1901-м — оперный театр. В 1900-м — цирк с его необыкновенной акустикой (и Шаляпин в 1906 г будет петь здесь, в цирке, и улица будет так запружена желающими услышать его, что ему придется пробираться из соседней гостиницы «Континенталь» в помещение цирка по крыше...). И роскошная гостиница «Континенталь», рядом с цирком, на Николаевской (теперь Карла Маркса) — тоже построена в 1900 году. В 1900-м же — музей древностей и искусств с украшенной львами лестницей. В 1913-м — здание педагогического музея (в «Белой гвардии»: «круглое гигантское здание музея»). В 1892 году пошел «электрический трамвай» — первый в России (второй в Европе!). А в 1905-м — фуникулер: два ступенчатых трамвайчика бегущие на канатах и по рельсам навстречу друг другу по крутейшему склону Владимирской горки...

Желтой краской светились громады еще в с XIX века выросших официальных зданий. Присутственные места... Первая гимназия... Влекло торжественное, горячего красного цвета, с черными капителями колонн, здание университета... Эти стояли особняком, не смешиваясь с жилыми кварталами, сами занимали кварталы. При некоторых парки — Ботанический сад при университете, парк при Первой гимназии...

«И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира»...

Андреевский спуск был очень скромной улицей, уютной и жилой. Здесь все знали друг друга («Здравствуйте, Варвара Михайловна»; «Здравствуйте Иван Павлович»). Еще сохранялись газовые фонари, похожие на те электрические, которые сейчас украшают улицу, но, конечно, их не было так много. И уже появлялись электрические, для всего города одинаковые, описанные Булгаковым в «Белой гвардии». «Как драгоценные камни, сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов». Здесь, на Андреевском спуске, их было

совсем мало. Правда, в 1918 году по крайней мере один - как раз за углом дома № 13. Он запечатлен в черновой редакции «Белой гвардии»: «...Брызнул из-за угла свет высокого фонаря, и они миновали дощатый забор ограждавший двор № 13, и стали подниматься вверх по спуску».

На Андреевском спуске и ныне булыжная мостовая, а тротуары заново крыты желтеньким кирпичом «под старину». Но... «вообще не бывает так, чтобы все стало, как было», — справедливо замечено Булгаковым. Старый киевский кирпичик, которым некогда мостили здесь малые улицы (на блистательной Фундуклеевской, на фешенебельной Николаевской — асфальт), укладывали не плашмя, а ребром, плотно и без зазоров. Теплые и шероховатые, узкие его брусочки радостно розовели из-под тающего весной снега, мгновенно высыхали после дождя и, умеряя наклон крутейшей улицы, образовывали частые, аккуратные ступеньки. Три такие ступеньки вплоть до начала 80-х годов сохранялись у дома № 13, как раз в том месте, где несколько досок, тоже доживших до этого времени, ограждали «ущелье» между тринадцатым и соседним домом, № 11.

И все-таки улица сейчас та же, почти та же, что и в начале века. Она бежит от Десятинной вниз, к Подолу, вьется, зажата между возникающими слева и справа холмами. Слева ее теснит Фроловская гора, огибая которую, влево уходила старая Воздвиженская улица. Справа выступает лохматящаяся, похожая на верблюжий горб, «крутейшая гора». Под горою — отделенный от нее маленьким двориком — дом № 13. Улица в этом месте делает поворот, дом открывается внезапно. И бронзовый Булгаков, не очень похожий на живого (но, может быть, он и не должен быть очень похож — бронзовый на живого?), взглядывает со стены на приостанавливающихся от неожиданности прохожих.

Этот дом описан в романе «Белая гвардия» как дом Турбиных («на улице квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик — в первом»). Улица когда-то называлась «взвоз» (ее украинское название и сейчас — «Андріївський узвіз»), она проложена не сверху вниз, а снизу вверх, и нумерация домов на ней — снизу. Наверху, против Андреевской церкви — дом 38, а «дом Турбиных» в нижней трети улицы — 13.

Булгаковы поселились здесь в 1906 году. Еще был жив отец (он умер весной 1907-го). Семья у них была большая: семеро детей (Михаил — старший), потом прибавились племянники, племянница,. Но, несмотря на очень скромный достаток Булгаковых, жители Андреевского спуска долго еще помнили «квартиру Варвары Михайловны во втором этаже», жарко светившуюся всеми окнами в зимние вечера, радостно звучащую музыкой и молодыми голосами.

«Эх, хотя бы увидеться нам когда-нибудь всем,— писал Булгаков сестре Вере весной 1921 года из Владикавказа.— Я прочел бы вам что-нибудь смешное... Помните, как иногда мы хохотали в № 13?» Этот номер — 13 — он сохранит в «Белой гвардии», в рассказе «Дом Эльпит Рабкоммуна», в романе «Мастер и Маргарита»...

Михаил Булгаков жил в этом доме в 1906—1913 годах. Жил здесь и в ту самую зиму 1918/19 года, которую описал в «Белой гвардии». Здесь, в начале 1919-го, был мобилизован петлюровцами. (Может быть, это было так, как в рассказе «Я убил»: «И тотчас, кашляя, шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами...— Вы ликарь Яшвин?— спросил первый кавалерист».) Здесь же осенью 1919-го был мобилизован деникинцами. Отсюда — военным врачом деникинской армии — отправлен на Северный Кавказ...

И в гимназию, в годы отрочества, ходил тоже отсюда. Не в Подольскую, которая была ближе. А в самую популярную в Киеве — Первую, Александровскую, на прямом, как стрела, бульваре... По спуску вверх, потом по Владимирской. Каждый день — мимо Богдана Хмельницкого и старой Софии, мимо тенистого сквера с развалинами Золотых ворот и нового, обычного днем и соблазнительно светящегося по вечерам оперного театра.

Собственно, название «Александровская» (точнее, «Императорская Александровская» — в честь Александра I, некогда пожаловавшего ей особый статус) гимназия получила в 1911 году, к своему столетнему юбилею, когда Булгаков уже был студентом. В «Белой гвардии» она — Александровская, в ее здании разворачиваются важнейшие события романа, и описана она — с ее «грандиозным» плацем, «бесконечными» коридорами, залитым светом «двускатным вестибюлем» — внушительно и вместе с тем необыкновенно узнаваемо и похоже.

Не правда ли, Булгаков вообще замечательно точен в своих описаниях? Всё так... Или, может быть, не совсем «так»?

Едва ли не самая запоминающаяся примета интерьера гимназии в романе — портрет Александра I — «двухсаженное полотно» на парадной лестнице, над вестибюлем: «На кровном аргамеке, крытом царским вальтрапом с вензелями, поднимая аргамека на дыбы, сияя улыбкой, в треуголке, заломленной с поля, с белым султаном, лысеватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами. Посылая им улыбку за улыбкой, исполненные коварного шарма, Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на Бородинские полки...»

Он дан Булгаковым с колдовской двойственностью точности и субъективности, блеска и коварства, этот дортрет, участвующий в событиях романа как живое лицо («полковник Малышев по лестнице, оборачиваясь и косясь на Александра, поднимался ко входу в зал»). Ну, разумеется, его не могло здесь не быть — портрета основателя этой гимназии и «победителя Наполеона», каким его видят в «Белой гвардии» артиллеристы — юнкера, вчерашние гимназисты и студенты.

И тем не менее его здесь не было. Не было в Киевской Александровской гимназии портрета Александра над вестибюлем. И вообще не было в гимназии конного портрета Александра. Это оказалось не слишком сложно проверить: сохранилась полная опись гимназического имущества. Портрет Александра висел в актовом зале, в одном из простенков между окнами («Сумрачный белесый свет царил в зале, и мертвенными, бледными пятнами глядели в простенках громадные, наглухо завешенные портреты последних царей». — «Белая гвардия»), в ряду других таких же портретов и очень похожий на них. Александр был рыжеват, с треуголкой в руке и, разумеется, пеший.

Топография Михаила Булгакова... «Готический» особняк Маргариты, который столько лет безуспешно разыскивают москвичи. Фонарный переулок Николки, который никак не могут найти киевляне...

Портрет в «Белой гвардии», мимо которого, «осаживая лестницу грузным шагом александровской пехоты», поднимаются юнкера, — не реалия из воспоминаний детства. Это один из образов романа, в , случае — один из цветовых, звуковых, смысловых ударов, рождающих ассоциативные связи между замыслом «Белой гвардии» и так хорошо знакомой читателям «Войной и миром». Бесконечность булгаковских ассоциаций, окрашенных то нежностью, то сарказмом то трагизмом...

В первом томе «Войны и мира» двадцатилетний Николай Ростов, вчерашний юнкер, только что произведенный в офицеры, смотрит на обожаемого монарха «Красивый, молодой император Александр... в треугольной шляпе, надетой с поля...» «Боже мой! Что бы со мной было, ежели бы ко мне обратился государь! - думал Ростов: — я бы умер от счастья». И далее: «Мы все умрем, с наслаждением умрем за него. Так господа?»

У Булгакова вместо «треугольной шляпы, надетой с поля», — «треуголка, заломленная с поля», тот же Александр, но не «молодой», а «лысеватый», и увиденная юным Ростовым «обворожительность» уже превратилась в настораживающий «коварный шарм». У Булгакова Александр — да не Александр, а всего лишь портрет (в конце соответствующей главы он и назван

«портретом»: «О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со мною не говорит», - скажет принявший свое единственное решение Малышев) — трагически обманчивое олицетворение род долга и героизма, ложный символ, за который этим мальчикам предстоит умирать всерьез.

«Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на Бородинские полки. Клубочками ядер одевались Бородинские поля, и черной тучей штыков покрывалась даль на двухсаженном полотне». Юнкера и студенты, из которых половина не умеет держать винтовку в руках, чувствуют себя на Бородинском поле. А защищать им придется не Россию а мерзавца гетмана и «белую» идею...

...Официальным, государственным языком города считался русский. Но это было сердце Украины, и музыка украинского языка вливалась из окружающих город деревень, текла по улицам, заполняла рынки, эх отдавалась в дворах и домах. Вплетался польский. Звучал еврейский. Город был многозвучен, многоязык. И все это отразилось в музыке «Белой гвардии»...

По своему социальному положению Булгаковы принадлежали к среде, где украинским языком не интересовались и, смею уверить, не знали его. Но... любимым профессором, а затем старшим коллегой и другом Афанасия Ивановича Булгакова в Киевской духовной академии был профессор Н. И. Петров, преподаватель теории словесности, историк, этнограф, автор статей по музейному делу. Страстью профессора Н. И. Петрова была украинская литература, и в историю он впоследствии вошел именно этой стороной своей многогранной ученой деятельности — как крупнейший украинский литературовед. Профессор Петров был крестным отцом Михаила Булгакова, а потом крестным отцом и одной из его сестренок — Вари.

Знал ли Булгаков украинский язык? Литературный, письменный, книжный, может быть, и нет. Во всяком случае, свидетельств этого нет. (Отмечу, впрочем, запись в дневнике Е. С. Булгаковой 25 июня 1937 года: «М. А. купил на Арбате украинский словарь».) Но живую стихию устной народной речи, безусловно, и знал и любил: это видно по обилию и точности украинизмов в «Белой гвардии». А ведь украинизмы эти уцелели далеко не все. Они погибали по небрежности наборщиков, погибали по неведению редакторов, принимавших их за ошибки и опечатки. Некоторые украинизмы в этом издании удалось восстановить — по уцелевшим гранкам. Рукописи романа не сохранились. Корректурa последней трети романа утеряна уже после смерти вдовы писателя...

Любил украинский язык... Но как же тогда Турбин с его выкриками о «проклятом языке», которого «и на свете не существует»? Вот так:

«Жи́ды!»— кричит пьяный Карась; у автора же один из символов трагедии гражданской войны—«стынувший труп еврея» в последней главе романа.

«Край украинский, здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей...»— пренебрежительно увещевает Турбина Шервинский. «Пять процентов, а девяносто пять — русских!..»— кричит Турбин. У автора же, у Булгакова — строки о «той настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей» и которую в окружении Турбиных «не знал никто». У автора в романе страницы прозы, колдовским образом пронизанные мелодией украинского языка...

«Героев своих надо любить»,— говорил Булгаков. Он и любил своих героев — Карся, Шервинского, Турбина. Но любить — не значит лгать. И в правде своей Булгаков жесток беспощадно. Ибо если не говорить все до конца, то как донести лютую, кровавую, правой и неправой ненависти трагедию братоубиственной гражданской войны? Как донести трагедию Турбиных, и отчаянные поиски ими выхода, и горькие слова Елены, безусловно никого не убивавшей: «Все мы в крови повинны...»

«Эх, жемчужина — Киев! Беспокойное ты место!..» — скажет Булгаков в очерке «Киев-город».

...У подножия Андреевского спуска—«маленькая церковь Николая Доброго, что на Взвозе», упоминаемая в «Белой гвардии». И священник этой церкви выведен в романе под своим собственным именем Александр. Был отец Александр не только священник, но и профессор духовной академии, младший коллега и друг покойного Афанасия Ивановича Булгакова. В церкви Николы Доброго он и венчал Михаила и Татьяну в апреле 1913 года.

А осенью того же года отец Александр, еще не старый, с пеленою мягко вьющихся русых волос, с несказанным, до болезненности, выражением доброты простом русском лице, чаще обычного проходил мимо знакомых нам окон на углу Андреевского спуска и Владимирской. Киев лихорадило «дело Бейлиса» инспирированный царскими властями процесс над евреем Бейлисом, якобы убившим русского мальчика, процесс, на котором совершенно серьезно рассматривалось сочиненное черносотенцами обвинение евреев в том, что они убивают христианских младенцев в ритуальных целях. И отец Александр был привлечен обвинением в качестве эксперта.

Еще весной 1911 года, когда в Киев прибыл некий видный чиновник из Петербурга со специальным заданием организовать «ритуальное дело», а киевские власти стали с готовностью подбирать для него «свидетелей» и «экспертов», петербуржцу были представлены как

надежнейшие эксперты, которые покажут «все, что надо», двое — профессор Киевского университета психиатр Сикорский и профессор Киевской духовной академии Александр Глаголев. И Сикорский действительно показал все, что было угодно начальству, как не раз делал это и в прошлом. С Глаголевым же, от которого никак не ожидали строптивости (его рекомендовал сам архимандрит), вышла осечка: он заявил, что, насколько ему известно из богословских книг, еврейская религия ритуальных убийств не допускает.

Был разговор, о котором широкая публика не знала (документы опубликованы после Октября), но в доме Булгаковых — в доме Варвары Михайловны Булгаковой, где Глаголев бывал постоянно как старинный и любимый друг семьи, — должны были знать. Петербургский чинovníк был напорист и требователен. Раздражением дышит даже его отчет об этом разговоре («Отец Глаголев, видимо, уклоняясь дать заключение, пытался отрицать...»). Глаголев же, голос которого мы так хорошо знаем по «Белой гвардии» («Что сделаешь, что сделаешь, — конфузливо забормотал священник... Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми...»), был тих, смущался, «выразил желание» еще раз проштудировать богословские книги. Но в мнении своем остался тверд и в экспертизе это свое мнение изложил. Экспертизу пришлось обнародовать, она фигурировала на процессе, была обвинению как кость в горле, и блестящий петербургский адвокат Грузенберг благодарил в лице «отца Глаголева» православную церковь...

Свой город — для него Город — Булгаков не только любил. Город он знал. Как потом, научившись любить и знать Город, знал опоэтизированную им Москву и любил Ленинград... Киев был исхожен его ногами отрока, потом юноши — весь.

Гимназистов водили на экскурсии. Это было традицией, кажется, даже делом чести для учителей. В архиве гимназии сохранилось несколько разрозненных листков — отчеты об этих экскурсиях. И можно узнать, что весной 1903 года классный наставник второго класса второго отделения Деллен (Михаил Булгаков в это время учился именно в этом классе) водил своих ребят на Аскольдову могилу. Что на следующий год историк Бодянский (Булгаков тогда учился у него) провел одиннадцать экскурсий со своими учениками — в Киево-Печерскую лавру и к Аскольдовой могиле,

в церковь Спаса на Берестове и к Золотым воротам, в Музей древностей, к Цепному мосту, в Царский сад... А словесник Тростянский с третьим классом (все того же отчета за 1903/04 год, когда Булгаков был учеником третьего класса) совершил экскурсию парохомом на Днепровские

пороги. («Экскурсанты,— значит в отчете,— были в пути две недели и возвратились в Киев здоровыми». — Архив города Киева, фонд 108, оп. 76, ед. 4 и оп. 77, ед. 1.)

Не отсюда ли — из детства — это природное для Булгакова и такое явственное в его прозе ощущение бесконечности времени и пространства?

«...Царский сад. Старые сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а те расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи над шоссе, вьющимся по берегу великой реки, и темная, скованная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море» («Белая гвардия»).

Молодым киевлянам это кажется преувеличением. Обрывы на страшной высоте... отвесные стены... нижние далекие террасы... Теперь от верхних площадок и дорожек садов до берега реки — склоны, густо засаженные разросшимися деревьями, буйная зелень летом скрадывает шум врезанного по склону шоссе и только на смотровых площадках открывается перспектива...

Но тогда обрывы над Днепром были именно такими какими их описывает Булгаков. Нагие склоны уступами и отвесными стенами срывались вниз; затемненные вьюгою зимою, летом желто-глинистые, в зеленых пятнах кустов и мхов, они просматривались до самого берегового шоссе, и высота казалась страшной. Между разогретых камней шныряли ящерицы, и какое-то деревце, уцепившись в расщелине, росло под ногами,— если упасть, можно было угодить в его раскрывшуюся вершину.

С Аскольдовой могилы, из Царского сада, с «выступа» в Купеческом саду, с Владимирской горки, с площадки Андреевской церкви открывались бесконечные дали — на юг, на восток, на северо-восток, к Москве... С каждой точки обзора — другие.

Рядом с Андреевской церковью, как помнит читатель, дом Врубеля. В 1886 году Михаил Врубель писал сестре: «Нанимаю за 30 руб. мастерскую, устроенную Орловским, с комнатою при ней и балконом на Днепр, возле церкви Андрея Первозванного... там буду писать «Демона»... Если у меня будет мастерская Орловского, то ты можешь приехать гостить ко мне хоть на все лето, комфортабельно поместясь в комнате с балконом на единственную в Киеве панораму...»

«Балкон» был как раз на уровне площадки Андреевской церкви. «Единственная панорама» с тех пор изменилась: меловые откосы вынесенных за Днепр многоэтажных новых кварталов заметно приблизили горизонт. Но и теперь в ясные летние вечера на площадке церкви Андрея

Первозванного в Киеве подолгу стоят у чугунной решетки люди или сидят, обхватив колени руками, прямо на траве склона, над огромным простором, и заворожено смотрят вдаль... А в 1906 году, когда над этим простором — чуть ниже, на «крутейшей горе», примыкающей к дворику дома № 13,— в прозрачные сентябрьские вечера сидел, обхватив колени руками, подросток Михаил Булгаков, пейзаж был точно таким, каким его видел Врубель.

Вечернее солнце валилось назад, за спину, и высоко на горах расположенный город еще был залит его лучами, горели и дробились стекла в верхних этажах домов, повернутых на запад, и внизу, под ногами, сверкали в последних лучах купола и кресты Братского монастыря. А низкий восточный дальний берег, заслоненный от солнца городом на горах, был темен, печален, тих, и где-то вдали уже загорались огонечки низко расположенной деревни Выгуровщины... Панорама, над которой замышлял своего «Демона» Врубель. Панорама, над которой соткался булгаковский демон, и ощущение полета, и жажда полета, и взгляд на мир — сверху...

И в 1916-м, когда студент и молодой врач Михаил Булгаков, живший напротив Андреевской церкви, взбегал своим стремительным шагом на ее высоко вознесенную площадку, панорама была все та же. «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля!..»

Знал ли Булгаков в молодые годы имя Врубеля? Вероятно, знал: это имя было популярно в Киеве; после смерти художника (Врубель умер в Петербурге, 1910 году) в киевской периодике публиковались воспоминания о нем, главным образом о последних, трагических годах его жизни. Но картины, столь близки воображению Булгакова, писатель увидел позже. «Демона сидящего» в Третьяковской галерее в Москве «Шестикрылого серафима» в Русском музее в Ленинграде. Известно, что фиолетовые, ночные краски! «Шестикрылого серафима» отразились в облике «темно-фиолетового рыцаря с мрачайшим и никогда не улыбающимся лицом» в последней главе романа «Мастер и Маргарита». И улавливается родство между юным «Демоном сидящим» и «деконом-пажом», каким оборачивается, принимая свой подлинный вид, Бегемот в той же последней главе романа. «Теперь притих и он и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны». Как всегда у Булгакова, не заимствование, не подражание — родство...

Берег за разливом Днепра, видимый с горы над родительским домом, был таинственен, загадочен, далек. «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами...» Берег был не так уж далек — всего лишь по ту сторону реки. И за обобщенным

образом туманов земли, за этим символом туманов жизни, вероятно, реальный, далекий толчок, как почти всегда у Булгакова — память о чем-то малом, давно занозившем сердце.

«Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах...» Ну кто же из киевских юношей в первой половине века хотя бы однажды не блуждал в туманах заднепровских низин пешком или в лодке — в заводах «старика-реки»...

«...Сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в черной мгле, в путаных заводах и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням» («Белая гвардия»). И снова за образом художественным, образом обобщенным — память отрочества или юности, и угадывается Булгаков — гимназист или студент, выводящий к пристаням заплутавшую в ночной мгле или утренних туманах лодку.

По правде говоря, строгие гимназические «Правила» в начале века в Киеве запрещали гимназистам «катанье в лодках по Днепру... иначе как с родителями или заступающими их место». Ну что ж, правила — правилами, а жизнь сама по себе. Булгаков любил лодочную греблю — со школьных и до последних лет.

В последнее его лето, 31 августа 1939 года, Е. С. Булгакова записала в своем дневнике: «Вчера днем Дмитриев. Миша с ним — на Ленинских горах на байдарке... Сегодня мы с Мишей и Мариной на парходике на Ленинские горы. Там Миша ездил опять на байдарке, а мы сидели на станции». (В. В. Дмитриев — художник и старый друг; Марина — его жена).

Панорама города, развернувшаяся у ног, ощущение бесконечности и полета, взгляд на землю сверху — навсегда войдут в душу и творчество Михаила Булгакова одним из самых волнующих, одним из самых важных для него мотивов, частью его мироощущения.

«Я только дошел бы до площадки у Андреевской церкви,— просительно говорит в «Белой гвардии» Николка сестре,— и оттуда посмотрел бы и послушал. Ведь виден весь Подол».

Андреевский спуск автором в романе переименован в Алексеевский. Но площадка «у Андреевской церкви» сохранила свое название, «Виден весь Подол»... Крыши и купола, брусы многоэтажных зданий и силуэты церквей, улицы, переулки, площадь, берег, река...

В романе «Мастер и Маргарита» Воланд и Азазелло на закате солнца находятся «высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве», и город виден им «почти до самых краев». «Какой интересный город, не правда ли?» — говорит Воланд. И Азазелло отвечает почтительно: «Мессир, мне больше нравится Рим!»

«Одно из самых красивых зданий» — дом Пашкова, в котором находилась и находится Библиотека имени Ленина, и Булгаков, вероятно, сам поднимался, а может быть, и не раз, на эту «террасу» и, невидимый снизу, закрытый «от ненужных взоров балюстрадой с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами», подолгу рассматривал Москву сверху.

И еще раз мы видим в романе Москву с высокой точки — с Воробьевых гор: «Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на черных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничные башни Девичьего монастыря».

И Мастер, прощаясь с городом навсегда, устремляется к обрыву: «Черный плащ тащился за ним по земле. Мастер стал смотреть на город. В первые мгновения к сердцу подкралась щемящая грусть, но очень быстро она сменилась сладковатой тревогой, бродячим цыганским волнением... Группа всадников смотрела, черная длинная фигура на краю обрыва жестикулирует, то поднимает голову, как бы стараясь перебросить взгляд через весь город, заглянуть за его края, то вешает голову, как будто изучая истоптанную чахлую траву под ногами».

И резиденция Понтия Пилата у Булгакова тоже высоко вознесена над Ершалаимом...

В литературоведении высказывалась мысль, что этот взгляд на город — сверху — Булгаков вынес из гоголевского «Рима», который очень любил и мотивы и строки которого — в своем, булгаковском пересказе — так хотел включить в инсценировку «Мертвых душ»:

«..И я глянул на Рим в час захождения солнца, и предо мной в сияющей панораме предстал вечный город! Вся светлая груда куполов и остроконечий сильно освещена блеском понизившегося солнца. Одна за другой выходят крыши, статуи, воздушные террасы и галереи. Пестрит и разыгрывается масса тонкими верхушками колоколен с узорной капризностью фонарей и вот он, вот он, выходит плоский купол Пантеона, а там за ним далее поля превращаются в пламя подобно небу».

Но, может быть, и панорама Рима, открывшаяся Гоголю с высокой площадки церкви S. Pietro in Montorio, так отозвалась в сердце Булгакова потому, что он уже знал это очарование панорамы города на закате - Нижнего города, или Подола, — с площадки Андреевской церкви или с горы над отчим домом...

Киев был с ним всегда. Киев отразился во всех романах. Городом — в «Белой гвардии». Родиной Максудова — в «Театральном романе». В «Мастере и Маргарите» — описанием «весенних разливов Днепра, когда »затопляя острова на низком берегу, вода сливалась с

горизонтом», и «солнечных пятен, играющих весною на кирпичных дорожках Владимирской горки», — пейзажами, к которым так равнодушен ни черта не понимающий Поплавский, за что, видимо, и наказан Воландом. И последним, прощальным пейзажем Мастера: «Боги, боги мои!..»

Киева нет разве что в «Жизни господина де Мольера». XVII век, Париж, Мольер — «лукавый и обольстительный галл»... Но... дед Крессе водит своего гениального внука туда, где «раскидывает свои шатры» Сен-Жерменская ярмарка, и не вспоминал ли Булгаков, рассказывая об этом, Киев начала нашего века, ежегодную зимнюю ярмарку, «раскидывавшую свои шатры» на Подоле, почти у подножия Андреевского спуска, и круглый год шумевший, как бесконечная гоголевская «Сорочинская ярмарка», подольский Житный базар...

В Киев Булгаков иногда приезжал. Не слишком часто, впрочем. Было для него что-то поддерживающее в этом городе, словам Елены Сергеевны — «утешающее». Показывал ей Андреевский спуск, водил на Владимирскую горку. Записывал, как выглядят листья киевских деревьев и кустарников. И однажды даже зарисовал в записной книжке схему Андреевского спуска, с развилкой Десятинной и Владимирской наверху и с ответвлением Воздвиженской пониже, пометив кружками Андреевскую и Десятинную церкви и прямоугольничком дом № 13.

После одной из таких поездок писал А. Гдешинскому, другу гимназических лет: «Итак, был я на выступе в Купеческом, смотрел на огни на реке, вспоминал свою жизнь. Когда днем я шел в парках, странное чувство поразило меня. Моя земля! Грусть, сладость, тревога!»

TOLSTOI.de

Bibliothek
Bildung
Beratung

Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München

Telefon Bibliothek (089) 29 97 75
Telefon Beratungsstelle (089) 22 62 41
Telefax (089) 228 93 12

www.tolstoi.de
tolstoi@tolstoi.de

Die Tolstoi-Bibliothek ist auf Spenden angewiesen.
Bitte unterstützen Sie uns durch eine steuerlich
abzugsfähige Spende auf unser Konto:

Spendenkonto: Банковские данные:

Nr.: 7824302
BLZ: 700 205 00
IBAN: DE72 7002 0500 0007 8243 02
BIC: BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft

Gefördert durch:



Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien



Landeshauptstadt
München
Kulturreferat



Landeshauptstadt
München
Sozialreferat

Bayerisches Staatsministerium für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst



Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München

Telefon Bibliothek (089) 29 97 75
Telefon Beratungsstelle (089) 22 62 41
Telefax (089) 228 93 12

www.tolstoi.de
tolstoi@tolstoi.de